

## Александр Куприн.

*Dina Paulista*

Allez!

Этот отрывистый, повелительный возглас был первым воспоминанием mademoiselle Норы из ее темного, однообразного, бродячего детства. Это слово раньше всех других слов выговорил ее слабый, младенческий язычок, и всегда, даже в сновидениях, вслед за этим криком вставали в памяти Норы: холод нетопленной арены цирка, запах конюшни, тяжелый галоп лошади, сухое щелканье длинного бича и жгучая боль удара, внезапно заглушающая минутное колебание страха.

Allez!..

В пустом цирке темно и холодно. Кое-где, едва прорезавшись сквозь стеклянный купол, лучи зимнего солнца ложатся слабыми пятнами на малиновый бархат и позолоту лож, на щиты с конскими головами и на флаги, украшающие столбы; они играют на матовых стеклах электрических фонарей и скользят по стали турников и трапещий там, на страшной высоте, где перепутались машины и веревки. Глаз едва различает только первые ряды кресел, между тем как места за ложами и галерея совсем утонули во мраке.

Идет дневная работа. Пять или шесть артистов в шубах и шапках сидят в креслах первого ряда около входа в конюшни и курят вонючие сигары. Посреди манежа стоит коренастый, коротконогий мужчина с цилиндром на затылке и с черными усами, тщательно закрученными в ниточку. Он обвязывает длинную веревку вокруг пояса стоящей перед ним крошечной пятилетней девочки, дрожащей от волнения и стужи. Громадная Белая Лошадь, которую конюх Водит

## ALEKSANDR KUPRIN

*Tradução de Dina Paulista*

ALLEZ!

Este brado entrecortado e imperioso era a primeira recordação que mademoiselle Nora tinha da sua obscura, monótona e errante infância. Esta palavra tinha sido, antes que todas as outras, articulada pela sua linguinha débil e infantil, e sempre, até mesmo nos sonhos, a seguir a este grito, vinha à memória de Nora o frio da arena do circo sem aquecimento, o cheiro da cavalaria, o galope pesado do cavalo, o estalido seco do azorrage longo e a dor pungente do golpe que abafava de repente a hesitação momentânea provocada pelo medo.

– Allez!...

O circo vazio está escuro e frio. Aqui e ali, mal conseguindo atravessar a cúpula de vidro, os raios do sol de Inverno vão cair em forma de fracas manchas no veludo carmesim e nos dourados dos camarotes, nos escudos com cabeças de cavalos e nas bandeiras que enfeitam as colunas; eles brincam nos vidros opacos das lanternas eléctricas, deslizam ao longo do aço das barras fixas e do trapézio, lá, àquela altura terrível, onde está o emaranhado de aparelhos e cordas. O olho mal consegue distinguir as primeiras fileiras de cadeiras, sendo que os lugares nos camarotes e nas galerias se afundam por completo nas trevas.

Estão a ter lugar os treinos e ensaios diurnos. Cinco ou seis artistas, vestidos com casacos de pele e com *chapkas* nas cabeças, estão sentados nas cadeiras da primeira fila, perto da entrada para a cavalaria, a fumar fedorentos charutos. No meio da arena está um homem atarracado e de pernas curtas, com cartola na cabeça e com bigodes pretos, cuidadosamente enrolados num fio. Esse homem ata a longa corda à volta da cintura da menina minúscula de cinco anos que, a tremer do nervosismo e do frio intenso, está de pé à frente dele. O enorme cavalo branco que

Вдоль Барьера, громко фыркает, мотая выгнутой шеей, и из ее ноздрей стремительно вылетают струи белого пара. Каждый раз, проходя мимо человека в цилиндре, лошадь косится на хлыст, торчащий у него из-под мышки, и тревожно храпит и, прядая, влечет за собою упирающегося конюха. Маленькая Нора слышит за своей спиной ее нервные движения и дрожит еще больше.

Две мощные руки обхватывают ее за талию и легко взбрасывают на спину лошади, на широкий кожаный матрац. Почти в тот же момент и стулья, и белые столбы, и тиковые занавески у входов - все сливается в один пестрый круг, быстро бегущий навстречу лошади. Напрасно руки замирают, судорожно вцепившись в жесткую волну гривы, а глаза плотно сжимаются, ослепленные бешеным мельканием мутного круга. Мужчина в цилиндре ходит внутри манежа, держит у головы лошади конец длинного бича и оглушительно щелкает им...

Allez!..

А вот она, в короткой газовой юбочке, с обнаженными худыми, полудетскими руками, стоит в электрическом свете под самым куполом цирка на сильно качающейся трапедии. На той же трапедии, у ног девочки, висит вниз головою, уцепившись коленами за штангу, другой коренастый мужчина в розовом трико с золотыми блестками и бахромой, завитой, напомаженный и жестокий. Вот он поднял кверху опущенные руки, развел их, устремил в глаза Норы острый, прицеливающийся и гипнотизирующий взгляд акробата и... хлопнул в ладони. Нора делает быстрое движение вперед, чтобы ринуться вниз, прямо в эти сильные, безжалостные руки (о, с каким испугом вздохнут сейчас сотни зрителей!), но сердце вдруг холодеет и перестает биться от ужаса, и она только крепче стискивает тонкие веревки. Опущенные безжалостные руки подымаются опять, взгляд акробата становится еще напряженнее... Пространство внизу, под ногами, кажется бездной.

Allez!..

Она балансирует, едва переводя дух, на самом верху «живой пирамиды» из шестерых людей. Она скользит, извиваясь гибким, как у змей, телом, между перекладинами длинной белой лестницы, которую внизу кто-то держит на голове. Она перевертывается в воздухе, взброшенная наверх сильными и страшными, как стальные пружины, ногами жонглера в «икарийских играх». Она идет высоко над землей по тонкой, дрожащей проволоке, невыносимо режущей ноги...

o cavaliço conduz ao longo da barreira, bufa alto, ao mesmo tempo que abana o pescoço arqueado e que das suas narinas saem decididos jactos de vapor branco. Cada vez que passa ao lado do homem da cartola, o cavalo toca na chibata que aquele tem presa debaixo do braço e, bufando ameaçadoramente e movendo as orelhas, arrasta consigo o cavaliço que lhe opõe resistência. A pequena Nora ouve nas suas costas os movimentos nervosos daquele e treme ainda mais.

Duas mãos vigorosas pegam-na então pela cintura e lançam-na facilmente para cima do dorso do cavalo, para uma larga coberta de couro. E quase momentaneamente, tanto as cadeiras, como os postes brancos e as cortinas de cotim perto da saída, se fundem num círculo multicolor que corre a grande velocidade de encontro ao cavalo. Em vão as mãos da menina se paralisam, cravando-se convulsivamente na onda rija da crina do cavalo, e em vão os olhos se lhe cerram fortemente, ofuscados que estão pelo cintilar raivoso do círculo turvo. O homem da cartola anda dentro da arena, mantém perto da cabeça do cavalo a ponta do longo azorrique que faz estalar ensurdecidamente...

– Allez!...

E ei-la agora à luz eléctrica, com uma cortinha saia de escumilha e com os magros braços meio infantis nus mesmo por debaixo da cúpula do circo, num trapézio que balança fortemente. Naquele mesmo trapézio, aos pés da rapariga, está pendurado de cabeça para baixo, seguro à barra com as pernas dobradas pelos joelhos, um outro homem atarracado, com um fato de malha cor-de-rosa com lantejoulas douradas e franjas, de cabelo frisado, com brilhantina e ar cruel. Eis que ele levantou os braços caídos, afastou-os e dirigiu para os olhos de Nora o seu olhar aguçado, certo e hipnotizador de acrobata e... bateu com a palma de uma mão na outra. Nora faz um rápido movimento em frente, denotando a intenção de se atirar para baixo, directamente para estas mãos fortes e impiedosas (oh, com que susto suspiram nesse momento as centenas de espectadores!), mas o seu coração fica de repente frio, pára de bater devido ao medo e ela não consegue fazer outra coisa que não seja agarrar-se cada vez com mais força às cordas finas do trapézio. Os impiedosos braços descaídos levantam-se de novo, o olhar do acrobata fica ainda mais tenso... O espaço lá em baixo, sob os pés, parece não ter fim.

– Allez!...

Mal conseguindo respirar, ela equilibra-se no cume da «pirâmide viva» formada por seis pessoas. Ela escorrega, contorcendo o seu corpo maleável como o de uma cobra, por entre a barra fixa da longa escada branca que alguém lá em baixo equilibra em cima da cabeça. Ela dá uma pirueta no ar, lançada que foi para cima pelas pernas fortes e terríveis, tais molas de aço, do malabarista nos «jogos de Ícaro». Ela caminha bem lá no alto, ao longo de um fino e balançante arame que lhe vai

И везде те же глупо красивые лица, напомаженные проборы, взбитые коки, закрученные усы, запах сигар и потного человеческого тела, и везде все тот же страх и тот же неизбежный, роковой крик, одинаковый для людей, для лошадей и для дрессированных собак:

Allez!..

Ей только что минуло шестнадцать лет, и она была очень хороша собою, когда однажды во время представления она сорвалась с воздушного турника и, пролетев мимо сетки, упала на песок манежа. Ее тотчас же, бесчувственную, унесли за кулисы и там, по древнему обычаю цирков, стали изо всех сил трясти за плечи, чтобы привести в себя. Она очнулась и застонала от боли, которую ей причинила вывихнутая рука. «Публика волнуется и начинает расходиться, говорили вокруг нее, идите и покажитесь публике!..» Она послушно сложила губы в привычную улыбку, улыбку «грациозной наездницы», но, сделав два шага, закричала и зашаталась от невыносимого страдания. Тогда десятки рук подхватили ее и насильно вытолкнули за занавески входа, к публике.

-Allez!..

В этот сезон в цирке «работал» в качестве гастролера клоун Менотти, не простой, дешевый бедняга-клоун, валяющийся по песку, получающий пощечины и умеющий, ничего не евши со вчерашнего дня, смешить публику целый вечер неистощимыми шутками, а клоун-знаменитость, первый соло-клоун и подражатель в свете, всемирно известный дрессировщик, получивший почетные призы и так далее и так далее. Он носил на груди тяжелую цепь из золотых медалей, брал по двести рублей за выход, гордился тем, что вот уже пять лет не надевает других костюмов, кроме муаровых, неизбежно чувствовал себя после вечеров «разбитым» и с приподнятой горечью говорил про себя: «Да! Мы-шуты, мы должны смешить *сытую* публику!» На арене он фальшиво и претенциозно пел старые куплеты, или декламировал стихи своего сочинения, или протергивал думу и канализацию, что, в общем, производило на публику, привлеченную в цирк бесшабашной рекламой, впечатление напыщенного, скучного и неуместного кривлянья. В жизни же он имел вид томно-покровительственный и любил с таинственным, небрежным видом намекать на свои связи с необыкновенно красивыми, страшно богатыми, но совершенно наскучившими ему графинями.

cortando os pés numa dor insuportável... E em todos estes lugares estão aquelas mesmas caras atoleimadamente bonitas, as riscas nos cabelos cheios de brilhantina, os topetes armados, os bigodes enrolados, o cheiros dos charutos e do corpo humano suado; e em todos os lugares aquele mesmo medo e aquele mesmo grito inevitável e fatal, igual para as pessoas, para os cavalos e para os cães amestrados:

– Allez!...

Ela era uma rapariga muito bonita e tinha acabado de completar dezasseis anos, quando certa vez, durante um espectáculo, se despenhou da barra fixa do trapézio e, voando na queda ao lado da rede, foi cair na areia da arena. Nesse mesmo momento levaram-na silenciosamente para os bastidores e, uma vez lá começaram, segundo um antigo hábito circense, a abaná-la com toda a força pelos ombros para a fazer recobrar os sentidos. Ela voltou a si, gemeu da dor que lhe provocava o braço deslocado. «O público está agitado e começa a dispersar-se - diziam à volta dela - saia lá fora e mostre-se ao público!...». Ela esboçou obedientemente o habitual sorriso nos lábios, o sorriso da «amazona graciosa» mas, dando dois passos em frente, gritou e cambaleou com a dor insuportável. Dezenas de mãos agarraram-na então e atiraram-na à força para a saída das cortinas, para o público:

– Allez!...

Nesta época «trabalhava» no circo, na qualidade de artista convidado em digressão, o palhaço Menotti, que não era um daqueles pobres palhaços simples e baratuchos que se arrastam pela areia do chão, que levam bofetadas e que conseguem, mesmo sem terem comido nada desde o dia anterior, fazer rir o público toda a noite com as suas piadas inesgotáveis. Ele era, sim, um palhaço famoso, primeiro palhaço-solista e imitador na alta sociedade, um domador mundialmente conhecido, galardoado com vários prémios honoríficos e etc., e etc. Usava ao peito uma pesada corrente feita das medalhas de ouro, cobrava duzentos rublos por cada entrada sua em cena e orgulhava-se do facto de há já cinco anos não usar outros fatos que não fossem de catassol. Sentia-se inevitavelmente «derreado» depois das apresentações nocturnas e falava de si com uma amargura elevada: «Sim! Nós, os palhaços, temos que fazer rir um público farto!». Na arena ele cantava desafinada e pretensiosamente algumas coplas antigas, declamava poemas de sua autoria, ou ainda, dizia o que lhe vinha à cabeça, de bom e mau, o que em geral provocava no público, atraído ao circo por uma publicidade sem grandes cuidados, a impressão de requebros afectados, aborrecidos e inoportunos. No dia-a-dia ele tinha um ar languidamente protector e gostava de fazer alusão, de modo secreto e descuidado, às suas relações com as condessas invulgarmente bonitas, impressionantemente ricas, mas absolutamente enfadonhas para ele.

Когда, излечившись от вывиха руки, Нора впервые показалась в цирк, на утреннюю репетицию, Менотти задержал, здороваясь, ее руку в своей, сделал устало-влажные глаза и расслабленным голосом спросил ее о здоровье. Она смутилась, покраснела и отняла свою руку. Этот момент решил ее участь.

Через неделю, провожая Нору с большого вечернего представления, Менотти попросил ее зайти с ним поужинать в ресторан той великолепной гостиницы, где всемирно знаменитый, первый соло-клоун всегда останавливался.

Отдельные кабинеты помещались в верхнем этаже, и, взойдя наверх, Нора на минуту остановилась частью от усталости, частью от волнения и последней целомудренной нерешимости. Но Менотти крепко сжал ее локоть. В его голосе прозвучала звериная страсть и жестокое приказание бывшего акробата, когда он прошептал:

Allez!..

И она пошла... Она видела в нем необычайное, верховное существо, почти бога... Она пошла бы в огонь, если бы ему вздумалось приказать.

В течение года она ездила за ним из города в город. Она стерегла брильянты и медали Менотти во время его выходов, надевала на него и снимала трико, следила за его гардеробом, помогала ему дрессировать крыс и свиней, растирала на его физиономии кольдкрем и - что всего важнее - верила с пылом идолопоклонника в его мировое величие. Когда они оставались одни, он не находил, о чем с ней говорить, и принимал ее страстные ласки с преувеличенно скучающим видом человека, пресыщенного, но милостиво позволяющего обожать себя.

Через год она ему надоела. Его расслабленный взор обратился на одну из сестер Вильсон, совершавших «воздушные полеты». Теперь он совершенно не стеснялся с Норой и нередко в уборной, перед глазами артистов и конюхов, колотил ее по щекам за непришитую пуговицу. Она переносила это с тем же смирением, с каким принимает побои от своего хозяина старая, умная и преданная собака.

Наконец однажды, ночью, после представления, на котором первый в свете дрессировщик был оштрафован за то, что чересчур сильно ударил хлыстом собаку, Менотти прямо сказал Норе, чтобы она немедленно убиралась от него ко всем чертям. Она послушалась, но у самой двери номера остановилась и обернулась назад с умоляющим взглядом. Тогда Менотти быстро подбежал к двери, бешеным толчком ноги распахнул ее и закричал:

Allez!..

Но через два дня ее, как побитую и выгнанную собаку, опять потянуло к хозяину. У нее потемнело в глазах, когда лакей гостиницы с наглой усмешкой

Quando, após ter sarado do braço deslocado, Nora se apresentou pela primeira vez no ensaio matinal do circo, Menotti reteve, ao cumprimentá-la, a mão dela na sua, fez uns olhos cansadamente húmidos e indagou-lhe sobre o estado de saúde com uma voz debilitada. Ela ficou perturbada, corou e retirou a mão. Este momento decidira o seu destino.

Uma semana depois, acompanhando Nora após a grande sessão da noite, Menotti convidou-a a jantar com ele no restaurante daquele maravilhoso hotel onde o mundialmente conhecido primeiro palhaço-solista ficava sempre hospedado.

As salinhas individuais encontravam-se no andar de cima e, ao subir, Nora parou momentaneamente - em parte pelo cansaço e em parte pela comoção e última indecisão casta. Mas Menotti apertou-lhe o cotovelo com força. Na sua voz ressoou a paixão animalesca e a ordem cruel de um ex-acrobata, quando ele sussurrou:

– Allez!...

E ela foi... Ela viu nele um ser extraordinário, supremo, quase um deus... Ela ter-se-ia enfiado no meio do fogo se a ele lhe tivesse passado pela cabeça ordenar-lhe tal coisa.

Durante um ano, Nora andou atrás dele de cidade em cidade. Ela guardava os brilhantes e as medalhas de Menotti durante as apresentações, vestia-lhe e despia-lhe o fato de malha, tomava conta do guarda-roupa dele, ajudava-o a amestrar ratazanas e porcos, massajava-lhe o rosto com *cold cream* e, o mais importante de tudo, acreditava com um ardor idólatra na grandeza mundial do palhaço. Quando ficavam a sós, Menotti não encontrava o que falar com ela e aceitava as apaixonadas carícias de Nora com o ar exageradamente aborrecido de um homem indiferente mas que permitia benevolmente que o adorassem.

Um ano depois já se tinha fartado dela. O seu olhar flácido virava-se agora para uma das irmãs Wilson, a que fazia os «voos acrobáticos». Agora ele já não tinha qualquer tipo de pudor com Nora e não eram poucas as vezes que no camarim, à frente dos artistas e dos cavaleiros, lhe espetava com um estalo na cara por algum botão que faltasse na roupa. Ela aguentava aquilo com aquela mesma resignação com que um cão velho, inteligente e fiel aguenta a tarefa do dono.

Por fim, certa noite, depois de um espectáculo no qual o primeiro domador da sociedade tinha sido vaiado por ter dado uma chicotada com força demais num cão, Menotti disse directamente a Nora para que ela desaparecesse da vista dele e que fosse para o diabo. Ela obedeceu-lhe, mas chegando mesmo ao pé da porta do quarto parou e voltou-se para trás com um olhar suplicante. Então Menotti correu rapidamente para a porta, escancarou-a com um enraivecido pontapé e gritou:

– Allez!...

Mas passados dois dias ela, tal qual cão espancado e expulso de casa, veio de

сказал ей: «К ним нельзя-с, они в кабинете, заняты с барышней-с».

Нора взошла наверх и безошибочно остановилась перед дверью того самого кабинета, где год тому назад она была с Менотти. Да, он был там: она узнала его томный голос переутомившейся знаменитости, изредка прерываемый счастливым смехом рыжей англичанки. Она быстро отворила дверь.

Малиновые с золотом обои, яркий свет двух канделябров, блеск хрусталя, гора фруктов и бутылки в серебряных вазах, Менотти, лежащий без сюртука на диване, и Вильсон с расстегнутым корсажем, запах духов, вина, сигары, пудры, все это сначала ошеломило ее; потом она кинулась на Вильсон и несколько раз ударила ее кулаком в лицо. Та завизжала, и началась свалка...

Когда Менотти удалось с трудом растащить обеих женщин, Нора стремительно бросилась перед ним на колени и, осыпая поцелуями его сапоги, умоляла возвратиться к ней, Менотти с трудом оттолкнул ее от себя и, крепко сдавив ее за шею сильными пальцами, сказал:

Если ты сейчас не уйдешь, дрянь, то я прикажу лакеям вытащить тебя отсюда!

Она встала, задыхаясь, и зашептала:

А-а! В таком случае... в таком случае...

Взгляд ее упал на открытое окно. Быстро и легко, как привычная гимнастка, она очутилась на подоконнике и наклонилась вперед, держась руками за обе наружные рамы.

Глубоко внизу на мостовой грохотали экипажи, казавшиеся сверху маленькими и странными животными, тротуары блестели после дождя, и в лужах колебались отражения уличных фонарей.

Пальцы Норы похолодели, и сердце перестало биться от минутного ужаса... Тогда, закрыв глаза и глубоко переведя дыхание, она подняла руки над головой и, поборов привычным усилием свою слабость, крикнула, точно в цирке:

Allez!..

1897

novo ter com o dono. Os seus olhos escureceram quando o lacaio do hotel lhe disse com um sorrisinho atrevido: «Ele não pode agora receber ninguém, está no gabinete, ocupado com a senhorita».

Nora subiu por ali acima e parou exactamente em frente da porta daquela mesma sala onde um ano atrás tinha estado com Menotti. Sim, ele estava lá: dava para reconhecer a sua voz lânguida de celebridade extenuada, interrompida de vez em quando pelo riso alegre da inglesa ruiva. Nora abriu a porta num gesto rápido.

O papel de parede carmesim com dourados, a luz clara dos dois candelabros, o brilho do cristal, a montanha de frutas e as garrafas nas fruteiras de prata, Menotti deitado sem sobrecasaca no divã e Wilson com o corpete desapertado, o cheiro do perfume, do vinho, do charuto, do pó-de-arroz - tudo isto aturdiu Nora nos primeiros instante; depois ela atirou-se a Wilson e deu-lhe algumas vezes com o punho cerrado na cara. Aquela pôs-se a gritar com voz esganiçada e assim começou a zaragata...

Quando Menotti lá conseguiu a custo separar as duas mulheres, Nora ajoelhou-se impetuosamente aos pés dele e, enchendo-lhe as botas de beijos, implorou-lhe que voltasse para ela. Menotti logrou com dificuldade afastá-la de si e, apertando-lhe firmemente o pescoço com os seus dedos fortes, disse:

– Se não desapareceres agora da minha frente, sua calhorda, ordenarei aos lacaios que te arrastem daqui para fora!

Ela levantou-se ofegante e murmurou:

– Ah!... Nesse caso... Nesse caso...

O seu olhar parou na janela aberta. Ela viu-se de repente, rápida e facilmente, como uma costureira ginasta, em cima do parapeito. Empoleirou-se para a frente, segurando-se com as mãos a ambos os caixilhos externos.

Bem lá em baixo, na calçada, passavam estrepitosamente as carruagens, que cá de cima mais pareciam animais pequeninos e terríveis; os passeios brilhavam depois da chuva e nas poças de águas oscilavam os reflexos dos candeeiros de rua.

Os dedos de Nora ficaram frios e o seu coração deixou de bater devido ao terror momentâneo que por ele passou... Então, fechando os olhos e inspirando uma profunda golfada de ar, ela levantou os braços por cima da cabeça e, vencendo a sua fraqueza com o já habitual esforço, gritou, tal qual estivesse no circo:

– Allez!...